

ПРОЛОГ

Мистер Эйза Ли Пиньон из «Чикагской кометы» пересек пол-Америку, целый океан и даже Пикадилли-серкус, чтобы увидеть известного, если не знаменитого графа Рауля де Марийяка. Он хотел для своей газеты так называемой «истории» — и получил ее, но не для газеты. Вероятно, она была слишком дикой, в прямом смысле слова — дикой, как зверь в лесу, комета среди звезд. Во всяком случае, он не стал предлагать ее читателям. Но я не знаю, почему бы не нарушить молчания тому, кто пишет для более тонких, одухотворенных, дивно доверчивых людей.

Мистер Пиньон не страдал нетерпимостью. Пока граф выставлял себя в самом черном цвете, он охотно верил, что тот не так уж черен. В конце концов, широта его и роскошества никому не вредили, кроме него; имя его часто связывали с отбросами общества, но никогда — с невинными жертвами или достойными столпами. Да, черным он мог и не быть — но таких белых, каким он предстал в «истории», просто не бывает. Рассказал ее один его друг, на взгляд мистера Пиньона — слишком мягкий, до слабоумия снисходительный. Но именно из-за этого рассказа граф де Марийяк открывает нашу книгу, предваряя четыре похожих истории.

Журналисту с самого начала кое-что показалось странным. Он понимал, что изловить графа нелегко, и не обиделся, когда тот уделил ему десять минут, которые собирался провести в клубе перед премьерой и банкетом. Был он вежлив, отвечал на поверхностные, светские вопросы и охотно познакомил газетчика с друзьями, которые там были и остались после его ухода.

— Что ж, — сказал один из них, — плохой человек пошел смотреть плохую пьесу с другими плохими людьми.

— Да, — проворчал другой, покрупнее, стоявший перед камином, — а хуже всех — автор, мадам Праг. Вероятно, она сама называет себя авторессой. Культура у нее есть, образования — нет.

— Он всегда ходит на премьеру, — сказал третий. — Наверное, думает, что ею все и ограничится.

— Какая это пьеса? — негромко спросил журналист. Он был учтив, невысок, а профиль его казался четким, как у сокола.

— «Обнаженные души», — ответил первый и хмыкнул. — Переделка для сцены прославленного романа «Пан и его свирель». Сама жизнь.

— Смело, свежо, зовет к природе, — прибавил человек у камина. — Вечно я слышу про эту свирель!..

— Понимаете, — сказал второй, — мадам Праг такая современная, что хочет вернуться к Пану. Она не слышала, что он умер.

— Умер! — не без злости сказал высокий. — Да он воняет на всю улицу!

Четверо друзей графа де Марийяка очень удивили журналиста. Дружили они и между собой, это было видно; но такие люди, в сущности, не могли бы и познакомиться. Сам Марийяк его

не удивил — разве что оказался беспокойней и встрепанней, чем на красивых портретах, но это можно было объяснить тем, что он постарел, да и устал за день. Кудрявые волосы не поседели и не поредели, но в остроконечной бородке виднелись серебряные нити, глаза были немного запавшие, взгляд — более беззащитный, чем предвещали твердость и быстрота движений. Словом, он был, скажем так, в образе; другие же — нет и нет. Только один из них мог принадлежать к высшему свету, хотя бы к высшему офицерству. Стройный, чисто выбритый, очень спокойный, он поклонился журналисту сидя, но так и казалось, что, если бы он встал, он бы щелкнул каблуками. Трое других были истинные англичане, но только это их и объединяло.

Один был высок, широк, немного сутул, немного лысоват. Удивляла в нем какая-то пыльность, которую мы нередко видим у очень сильных людей, ведущих сидячий образ жизни; возможно, он был ученым, скорее всего — неизвестным или хотя бы странноватым, возможно — тихим обывателем с невинным хобби. Трудно было представить, что у них общего с таким метеором моды, как граф. Другой, пониже, но тоже почтенный и никак не модный, был похож на куб; такие квадратные лица и квадратные очки бывают у деловитых врачей из предместья. Четвертый был каким-то обтрепанным. Серый костюм болтался на его длинном теле, а волосы и бородку могла бы оправдать лишь принадлежность к богеме. Глаза у него были удивительные — очень глубокие и очень яркие, и газетчик смотрел на них снова и снова, словно его притягивал магнит.

Вместе, вчетвером, эти люди озадачивали м-ра Пиньона. Дело было не только в их социальном

неравенстве, но и в том, что они, причем — все, вызывали представление о чем-то чистом и надежном, о ясном разуме, о тяжком труде. Приветливость их была простой, даже скромной, словно с газетчиками говорили обычные люди в трамвае или в метро; и когда, примерно через час, они пригласили его пообедать тут же, в клубе, он несколько не смутился, что было бы естественно перед легендарным пиром, который подходит друзьям Марийяка.

Серьезно или не серьезно относился граф к новой драме, к обеду бы он отнесся со всей серьезностью. Он славился эпикурейством, и все гурманы Европы глубоко почитали его. Об этом и заговорил квадратный человек, когда сели за стол.

— Надеюсь, вам понравится наш выбор, — сказал он гостю. — Если бы Марийяк был здесь, он повозился бы над меню.

Американец вежливо заверил, что всем доволен, но все же спросил:

— Говорят, он превратил еду в искусство?

— О, да, — отвечал человек в очках. — Все ест не вовремя. Видимо, это — идеал.

— Наверно, он тратит на еду много труда, — сказал Пиньон.

— Да, — сказал его собеседник. — Выбирает он тщательно. Не с моей точки зрения, конечно, но я — врач.

Пиньон не мог оторвать глаз от небрежного и лохматого человека. Сейчас и тот смотрел на него как-то слишком пристально и вдруг сказал:

— Все знают, что он долго выбирает еду. Никто не знает, по какому он выбирает признаку.

— Я журналист, — сказал Пиньон, — и хотел бы узнать.

Человек, сидевший напротив, ответил не сразу.

— Как журналист? — спросил он. — Или просто как человек? Согласны вы узнать — и не сказать никому?

— Конечно, — ответил Пиньон. — Я очень любопытен и тайну хранить умею. Но понять не могу, какая тайна в том, любит ли Марийяк шампанское и артишоки.

— Как вы думаете, — серьезно спросил странный друг Марийяка, — почему бы он выбрал их?

— Наверное, потому, — сказал американец, — что они ему по вкусу.

— Au contraire*, как заметил один гурман, когда его спросили на корабле, пообедал ли он.

Человек с удивительными глазами серьезно помолчал, что не вполне соответствовало легкомысленной фразе, и заговорил так, словно это не он, а другой:

— Каждый век не видит какой-нибудь нашей потребности. Пуритане не видят, что нам нужно веселье, экономисты манчестерской школы — что нам нужна красота. Теперь мало кто помнит еще об одной нужде. Почти все, хоть ненадолго, испытали ее в серьезных чувствах юности; у очень немногих она горит до самой смерти. Христиан, особенно католиков, ругали за то, что они ее навязывают, хотя они, скорее, сдерживали, регулировали ее. Она есть в любой религии; в некоторых, азиатских, ей нет предела. Люди висят на крюке, колют себя ножами, ходят не опуская рук, словно распяты на струях воздуха. У Марийяка эта потребность есть.

— Что же такое... — начал ошарашенный журналист; но человек продолжал:

* Наоборот (*фр.*).